

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Клад Кучума

(Из сборника "Встречи". (Очерки и рассказы))

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0018
III.....	.0032
IV.....	.0042

Клад Кучума

Из степных встреч

Жаркий июньский день. Воздух накален до того, что дрожит и переливается, как вода, а даль чуть брезжит, повитая синеватой дымкой. И такая чудная степная даль... Да, это настоящая киргизская степь, степь без конца-края, степь еще не тронутая дыханием цивилизации. Я любил по целым часам лежать в этой душистой, могучей степной траве, точно окропленной яркими красками степных цветов, — лежать и мечтать, как лежит и мечтает настоящий номад. Что ни говорите, а в каждом русском человеке, как мне кажется, живет именно такой номад, а отсюда неопределенная тоска по какой-то воле, каком-то неведомом просторе, шири и вообще по чем-то необъятном. Впрочем, я предавался этим мечтам, так сказать, по обязанности, потому что пил кумыс и должен был известное число часов жариться на степном солнце. Предаваться абсолютному покою — своего рода искусство, которое усваивается только постепенно. Лежишь в траве целые часы и ни о чем определенном не думаешь, а так, мысли

в голове плывут, как редкие высокие облачка по летнему небу. Например, отчего в самом деле не сделаться настоящим степняком, как мой хозяин по кумысу киргиз Чибуртай? Ведь он счастлив, и так немного нужно для этого счастья... А как он спит спокойно, какой у него здоровый вид. И ничем не мучится, как не мучится ничем его родная степь, кроме избытка сил. Собственная издерганность на этом степном фоне выступает с какой-то особенной рельефностью, — если бы тряпица могла чувствовать, она, вероятно, чувствовала бы нечто подобное, попав на фабрику или в магазин новых материй, еще не утративших первородной крепости, красок и блеска. Да, я чувствовал себя именно такой тряпицей, когда лежал в степи, представлявшейся мне гигантской зеленой лабораторией, в которой еще недавно готовилась история. Но коренной степняк давно сбит с позиции, и его степь занята другими насельниками. Остался от досельных времен страшный кровавый мираж... Виноват, остался еще кумыс (по-степному: «кумыз»), этот изумительнейший из всех напитков, какие только были ко-

гда-нибудь изобретены человечеством. Да, единственный напиток, в котором точно сконцентрировалась степная зеленая сила. Вымиравшие цивилизации оставляли на память счастливым преемникам непременно какое-нибудь зло, как проказа, холера, табак, опиум, и как мы оставим преемникам наше проклятие в форме нервности; а замиренная степь подарила нам целебнейший напиток, которому равного и не будет. И т. д., и т. д.

Привожу свои мысли в порядке их полной беспорядочности и тех свободных комбинаций, которые в виде особенной роскоши может позволить себе отдыхающий человек. Да, еще одно маленькое замечание — только в степи чувствуешь себя центром мира... Куда ни взглянешь — во все стороны степь расходится от вас по радиусам, как в геометрии. Это совершенно особенное ощущение, которое испытывается только на море и, вероятно, будет испытываться в воздухе, когда наука разрешит наконец вечную проблему движения по воздуху и наши счастливые потомки понесутся птицами по поднебесью. Как мне кажется, в этом сознании собственной

центральности таится причина того, что философская обобщающая мысль зародилась именно в степи и у островитян как естественная реакция человеческого духа на господствующее зрительное впечатление.

Итак, я лежал на траве и после мыслей о превратных судьбах человечества занялся наблюдением обступившего меня степного ковыля. Как лесные папоротники, так и ковыль положительно имеет в себе что-то мистически-таинственное и поэтически-сказочное, начиная с того, что он совершенно не походит на другие степные растения и, как папоротник, придает степи немного грустный колорит. Мои наблюдения над ковылем были неожиданно прерваны заразительным собачьим лаем. Я поднялся и увидел в двух шагах от себя низенького старика без шапки и в белой холщовой расейской рубахе.

— Цыц ты, Поселенка! — окрикнул старик рвавшуюся ко мне собаку. — Еще как раз напугаешь барина...

Старик подошел ко мне и проговорил с какой-то особенной простотой, точно мы вчера только расстались:

— Спичку бы мне, барин...

Как на грех у меня именно спичек и не было с собой, потому что, отправляясь на кумыс, я бросил курить.

— Нет, дедушка, у меня спички...

— Ах ты грех какой... А мы вон там станом стали, надо огонечка разложить, а спички-то и нет. Вот, поди ж ты, какая притча...

По костюму, по говору, а особенно по слову «барин», я сразу определил коренного расейского мужика, — барина Сибирь начинает узнавать только с проведением железных дорог, а до этого решающего момента были или купец, или его благородие как два полюса правящего класса. Ни барина, ни лаптей Сибирь не знала.

— Как же быть-то? — проговорили мы в один голос.

— Да, видно, надо будет дойти, барин, вон туда, где шатры стоят...

Шагах в ста от нас виднелись три коша Чибуртая (кош — круглая войлочная палатка), точно какие-то степные богатыри потеряли свои войлочные шапки.

— Постой, дедушка, пойдем вместе, а то те-

бя разорвут собаки...

— Меня-то не тронут, а вот собачку могут изувечить... Так, дорогой пристала. Ну, мы ее и назвали Поселенкой, потому как сами поселенцы... Мы, значит, рязанские будем.

— А куда вы едете?

— Куда мы-то? Мы-то, значит, на Амур пробираемся...

— На Амур?

— Видно так, барин... А далеко еще осталось?

— Далеконько, дедушка! Тысяч пять верст...

— Ведь вот поди ж ты! — изумился старик. — Третий месяц из Рязанской губернии едем, а все пять тыщ...

Пока мы шли, старик говорил все время, причем я узнал всю биографию его семьи до последнего горя включительно. Дорогой прихворнули двое ребятишек у старшей снохи, животами сильно скудались, ну, а потом и померли. Ревет большуха-то, а того не понимает, что отбились от своей партии. Другие-то вперед ушли, пожалуй, и не догонишь.

— Славные ребятки были, — жалел ста-

рик. — Известно, ребячье дело: много ли надо. Точно цыплята свернулись... Конечно, кабы дома, так отлежались бы, а тут, в дороге, стало быть... Сильно ревет большуха, вот как убивается. Всех засмутьянила, хоть назад поворачивай... Два сына у меня женатых, ну, у меньшого еще трои ребята мал мала меньше.

Мне очень понравился этот разговорчивый старик. В нем была какая-то особенная детская простота. И лицо такое славное, какое бывает только у коренного русского пахаря. Ни одного торопливого движения, ничего лишнего. Я люблю вот именно такие простые крестьянские лица, в которых точно отпечаталась вся наша русская история. Он побряхтывал на ходу, шмыгал ногами, обутыми в расейские лапти, и встряхивал головой. Поселенка почуяла врага и принялась угрожающе ворчать. Киргизские собаки-волкодавы бросились к нам навстречу громадными прыжками, но узнали меня и ограничились обнюхиванием Поселенки. Перед кошем Чибуртая курился огонек. Сам Чибуртай сидел около на корточках и внимательно следил, как мой кучер Егор Иваныч, пробойный городской ме-

щанин, промышлявший около хороших господ, жарил баранину прямо на угольях по какому-то мудреному исправничьему рецепту. В Сибири есть и яичница «исправница».

— Мир на стану... — проговорил мой старик.

Чибуртай, высокий, скуластый и узкоглазый киргиз, одетый в летний бешмет из черного ластика, издали очень походил на попа. Он мельком взглянул на старика поселенца и отвернулся, как отвертываются от недостойных внимания предметов. Чибуртай был богат благодаря каким-то мудреным комбинациям с краденым золотом и крадеными лошадьми и держал себя с большим гонором.

— Огонька бы... — повторил старик. — Мы, значит, тут лошадку остановились покормить, а огонька-то и нет.

— На... — предложил ему Егор Иваныч целую коробку серянок, зорко оглядывая гостя. — Дальние будете, старичок?

— А мы рязанские, значит.

Егор Иваныч отличался большой любознательностью и кроме того по натуре был фантазер и мечтатель. Его городская голова по-

стоянно была набита тысячью самых несбыточных думушек, а главное, его вечно тянуло в ту неведомую даль, где протекли сытовые реки с кисельными берегами. Услышав, что старик рязанец переселяется на Амур, Егор Иваныч весь встрепенулся.

— А ведь ты правильно, дедушка... В самую точку угадал. Падали и до нас слухи об этом самом Амуре. Я сам туда подумывал махнуть, да вот все как-то собраться не могу... Да и то сказать, какие мы есть люди, то есть городские: так, ни к чему. Вот я в извозчиках ездил, потом соленой рыбой да листовым табаком торговал, гармонию могу починить или подметку наладить, а все это наплевать... А настоящий крестьянин совсем другое: он на своей земле сидит. Одобряю, дедушка... Правильно.

— Уж как бог донесет, мил человек. Ох, далеко еще ехать-то...

— Ах ты какой, дедка... Ну, далеко, это точно, а все-таки куда-нибудь да приедешь, и боиться тебе нечего, потому как нет на свете правильнее человека, как крестьянин. Остальное-то все пустяки...

Старик топтался на одном месте и все при-
сматривал степную даль, защитив от солнца
глаза ладонью. Он покачивал головой и что-
то шептал про себя.

— Ты это что, дедка, ворожишь-то?

— А вот смотрю... дудка вон сухая везде по
полю, значит, место-то и не пахано и не коше-
но. Не видывали мы еще таких-то местов...
Неужто так травка пропадом и пропадает?

— Скотиной только травят, дедка. Здесь ка-
зачья земля, ну так казаки гурты жировать
пускают. Кому тут косить, когда за десятину
аренды всего тридцать копеек.

— Как тридцать? — переспросил старик,
не веря собственным ушам. — Господи, поми-
луй...

— А такое, значит, положенье... Казачиш-
ки ленивые, ну и сдают землю. Любую выби-
рай... У вас-то там в Расее кошку за хвост
негде повернуть, а мы еще слава богу.

Этот земельный разговор заставил старика
забыть и об огоньке, и об ожидавшей его на
стану семье. Он весь превратился в одно вни-
мание, как охотник, почуявший дорогую и
редкую дичь. Чибуртай молчал и только из-

редка взглядывал на старика с каким-то скрытым озлоблением. Когда к огоньку подошел с уздой в руках кривоногий казак Бельков, картина получилась вполне законченная. Чибуртай изображал собой замиренную орду, Бельков — отдыхавшего завоевателя, Егор Иваныч — посадского вольного человека, а старик поселенец — ту силу, которая реализует несметные богатства сибирских равнин, степей, гор и пустынь. Комбинация выходила самая характерная. Бельков присел к огоньку по-татарски на корточки, закурил коротенькую трубочку и равнодушно слушал разглагольствовавшего Егора Иваныча, начавшего в конце концов обличать беспросыпную казачью лень.

— Дай-ка вот ему вашу-то землю! — кричал он, указывая на поселенца. — Да ведь тут золото лопатой будут огребать, а вы чуть сами с голоду недохнете. Вон у дедушки и рубашка домашнего холста, и штаны из домашней пестрядины, и лапотки своего домашнего ковырянья — вот его и не возьмишь ни с которого боку. Ничего не боишься, дедка?

— А чего бояться-то?

— Вот, вот... Всего-то имущества — один крест, а он всю немшоную Сибирь наскрозь пройдет, потому как есть вполне правильный человек. Мы-то все ничего не стоим супротив него...

— Отстань, смола! — равнодушно отвечал Бельков, не имевший ни малейшего желания вступать в словесное ратоборство.

И Егор Иваныч и Бельков были типичны по-своему. У первого лицо было нервное, подвижное, и вся фигура какая-то встрепанная, точно он только что проснулся и еще не успел прийти в себя, а Бельков уже в достаточной мере пропитался степной ленью и всему на свете предпочитал *far niente* [1]. Ему даже говорить было тяжело. К старику переселенцу он отнесся с скрытым пренебрежением привилегированного человека. Казаки вообще считают мужика существом низшего порядка, а тут еще какая-то голь расейская. Поселенец постоял, посмотрел на степную аристократию, покачал головой, окинув еще раз хозяйским глазом некошеную степь, и проговорил!

— Ужо я пойду... Спасибо за спички-то.

Чибуртай и Бельков не удостоили его даже кивком головы, а Егор Иваныч поднялся, он не мог утерпеть, чтобы не посмотреть своими глазами, как расейские едут на Амур, Его пожирал огонь вечного любопытства.

— Ну, пойдём, дедка. И лошадка, поди, расейская?

— Своя лошадка-то, мил человек. Куды мы без лошадки... Двух курочек везем да петушка. Все как-то веселее...

— И курочек? — умилился Егор Иваныч. — Вот-вот...

Старик и Егор Иваныч скоро скрылись в живой зеленой волне степной травы. Виднелись некоторое время одни головы. Егор Иваныч сорвал прошлогоднюю сухую дудку и долго что-то объяснял старику, повертывая ее у него под самым носом. Седая расейская голова опять покачивалась, и издали казалось, что это качается шапка громадного ковыля.

— Голь перекатная, — презрительно заметил Бельков. — Туда же, на Амур...

Я жил в маленькой казачьей станице, по внешнему виду представлявшей собой воплощенное убожество, какого, пожалуй, и в России не сыщешь. В станице была всего одна улица и та грязная до невозможности, потому что служила для всех станичных баб помойной ямой. От первого дождя она превращалась в отвратительное месиво, а в сухую погоду обдавала вас едкой пылью. Всяческие отбросы копились здесь в течение целого столетия, и единственными санитарями служили станичные собаки и свиньи. Леса в степи нет, и станичные избушки кое-как были слеплены из кривых березовых и осиновых бревен, — слово «бревно», конечно, нужно понимать относительно, и вернее назвать эти бревна просто толстыми жердями. Эта городьба была слеплена кое-как, еще хуже проконопачена и для большей теплоты обмазана кое-где глиной, а то и просто навозом. Крыши все, конечно, были соломенные. Вообще, самая бедная стройка, хотя у каждого казака был земельный надел в тридцать десятин.

Жизнь в станице, конечно, была скучная до последней степени. Я обыкновенно уходил на целые дни в степь с ружьем стрелять степных ястребов, — это было единственным развлечением. Сидеть у себя дома и смотреть на несчастных кумысников, еле бродивших по станице, — было еще скучнее. Я занимал заднюю избу у казака Белькова, слывшего за богача, хотя все его богатство заключалось в нескольких десятках рублей и в хлебе. Деньги он отдавал в рост под ужасающие проценты, а также маклачил и хлебом. До свежего хлеба было еще далеко, а голодные люди не могут торговаться: что хочешь возьми, только выручи. Меня поражало, что вся станица только проедалась и буквально ничего не делала. Не было даже своей кузницы, а ездили ковать лошадей за пятнадцать верст. Самые усердные казаки уходили куда-то на золотые промысла, раскиданные по степи, и возвращались по субботам ни с чем, голодные и оборванные.

По вечерам решительно было некуда деваться, и я сидел на завалинке, любуясь казачьей детворой, которая барахталась в пыли

или в грязи, смотря по погоде. Станица засыпала рано, как только погасал летний день, и промежуток времени, когда солнце уже закатилось, а ночь еще не наступила, наводил какую-то особенную тоску. Спать еще рано, а делать нечего. Бельков целые дни проводил в том, что решительно ничего не делал. Он обыкновенно ходил по двору и ругался, ругался так, в пространство, водворяя какой-то неведомый никому порядок. Наругавшись всласть, он уходил куда-нибудь в холодок и спал. В сумерки он, как скворец, подсаживался к окну и глазел на улицу с терпением отбывавшего этой высидкой какое-то наказание. В сумерки обыкновенно подходил какой-то странный субъект и заводил с Бельковым какие-то таинственные переговоры. О последнем я заключил из того, что при моем появлении эти разговоры прекращались или принимали совершенно неудобопонятную форму.

— Ну, так как, Бельков?

— А вот этак...

— Немного... Значит, своего счастья не хочешь?

— А ну его!

— Да ты подумай, ежовая голова.

Голова Белькова делала отрицательное движение, а потом следовала беспредметная ругань. Собеседник, рослый и коренастый мужчина средних лет с окладистой седевшей бородой, относился к этим выходкам совершенно равнодушно и, сделав паузу, начинал тянуть тоже о каком-то своем счастье. Завидев меня, таинственный незнакомец считал своим долгом вежливо раскланиваться. По костюму и манере себя держать он не походил на станичника, а скорее на городского прасола. Сначала я принял его за такого же кумысника, каким был сам. Впрочем, Егор Иваныч, знавший уже всю подноготную станичной жизни и, кажется, посвященный в тайну этих вечерних переговоров, раз уклончиво ответил на мой вопрос:

— Не кумысник, а так, по своим делам...

— Золото ищет?

— Нет, так... Он, значит, фершал будет, а только своей фершальской частью не занимается. Так, вообще...

На Урале непочатый угол людей, которые живут «так», «вообще», «своими делами», и

эта характеристика вполне точная. Край безумно богатый, и при известной складке характера люди переходят с чрезвычайной легкостью от одного занятия к другому, как и мой кучер Егор Иваныч. Следовательно, и «фельдшер не у дел» имел право существовать таинственным своим делом. От нечего делать меня все-таки разбирало любопытство относительно таинственного фельдшера, и я напрасно перебирал все, что можно было подвести под рубрику «так» и «вообще», принимая, конечно, во внимание все условия степного и станичного делового обихода. В конце концов выходило все-таки то, что нечем здесь фельдшеру заниматься, кроме золота, которое открыто в казачьих землях Оренбургской губернии лет пятьдесят назад и служило до сих пор, кажется, единственным живым делом. Казаки запускают всякое домашнее хозяйство и шляются по промыслам, разыскивая это «свое счастье». Возможность легкой наживы и быстрого обогащения манит всех и даже поднимает на ноги беспробудную казачью лень.

Роковым вопросом в нашем станичном

житье было питание. Ни говядины, ни яиц, ни хлеба — решительно ничего. Чем питались сами станичники — составляет для меня до сих пор неразрешимую загадку. Вероятно, и тут тоже все дело велось «так», «вообще». В интересах питания мы обыкновенно каждую субботу ездили с Егором Иванычем в соседнюю станицу Кочкарь, где был торжок, почта и телеграф. Эти поездки служили в то же время и развлечением. Егор Иваныч запасал провизии на всю неделю и кстати исполнял поручения других кумысников, причем по привычке бывшего торговца рыбой и листовым табаком малую толику маклачил.

После встречи с рязанским переселенцем наступила наша суббота, и мы отправились в Кочкарь. На полдороге мы встретили шагавшего по стороне фельдшера. Он шел ровным, привычным шагом, размахивая длинной березовой палкой, точно акробат, который идет по канату с балансом.

— А разве мы его подсадим? — обратился ко мне Егор Иваныч.

— Пусть садится, — согласился я. — Веселее ехать.

Мы догнали таинственного фельдшера и предложили его подвезти. Он согласился, но с условием, что поедет вместе с Егором Иванычем на облучке.

— Погода приятная и вольный воздух, — заговорил фельдшер, очевидно желая усиленной вежливостью отплатить за нашу любезность. — Притом аромат с трав, так сказать, благовоние вообще.

Потом фельдшер обернулся и проговорил уже другим тоном;

— А в Кочкаре-то, милостивый государь, что делается! Боже мой, боже мой... Народ, как вода в котле, кипит-с. С золотых промыслов, конечно, главным образом. Тысяч до трех набирается каждую субботу... И что делают! Рабочие все с себя наскрозь пропивают, до последней рубашки-с. Так, в чем мать родила. Доходят прямо до мрачного неистовства и делаются в отсутствии ума...

— А все водочка-матушка, — заметил Егор Иваныч.

Фельдшер по неизвестной причине вздохнул и поправил съехавшую на затылок широкополю поповскую шляпу. Наш коробок под-

нимался уже на пригорок, с которого открывалась далекая степная панорама, исчерченная неведомыми проселками. Их можно было определить только по ехавшим в Кочкарь крестьянским телегам, верховым и пешеходам. Все двигались по направлению к Кочкарю, маленькой казачьей станице, залегшей на берегу степной речонки. От других станиц Кочкарь отличался только своей белой каменной церковью.

— Здорово народу понаперло, — говорил Егор Иваныч, из-под руки разглядывая торжок: зрение у него было изумительное.

Когда мы уже подъезжали к станице, нас нагнал Чибуртай, кативший верхом на гнедом маленьком иноходце, который, по выражению конников, «мел землю». Чибуртай и в седле сидел по-своему, свесившись как-то на один бок, точно хищная птица. По субботам в Кочкаре проезда не было в буквальном смысле, особенно с нашей стороны. Телеги и экипажи оставлялись у первых избушек. Собственно улица была вся запружена галдевшей толпой.

— Да ведь это тот старик... рязан-

ский-то... — проговорил Егор Иваныч, разглядывая телеги на берегу реки. — Недалеко в три дня уехал... Вы ступайте на почту, а я к нему загляну. Все равно по станице не проехать...

Мы с фельдшером отправились, а Егор Иваныч свернул к реке.

— Покорно благодарю, милостивый государь, — проговорил он, не протягивая руки. — Моя фамилия Куклин-с, Андрей Филатыч... В случае чего, ежели что, так весьма буду рад-с, а Бельков знает, где я живу.

— Благодарю вас, мне ничего не нужно.

— Нет-с, я так, на всякий случай... До свиданья-с.

Нам, однако, было суждено встретиться еще раз.

Я получил почту, побывал в лавке с галантерейным товаром — в Кочкаре устроены настоящие каменные магазины совсем на городскую руку — и отправился разыскивать свою подводку. В самой давке, недалеко от кабака, протискиваясь сквозь толпу, меня окликнул Егор Иваныч. Он был красен как рак, и я заподозрил, что он не утерпел и за-

вернул в кабак заморить червячка.

— Фершала не видели? — крикнул он мне через головы. — Нет? Ах ты грех какой... Вот как его нужно.

— Болен кто-нибудь у поселенца?

— Хуже: лошадь захромала... Чистая беда. Вот тебе и Амур... Куды это запропастился фершал-то? Он знает, как лошадей лечить, потому как не человеческий фершал, а скотский...

Егор Иваныч исчез, а я пошел своей дорогой. Давка была такая, что я буквально едва выбрался. Свой экипаж я нашел на самом берегу реки, а около стояла переселенческая телега рязанского старика. Около телеги из попоны было устроено что-то вроде шатра. Там сидели две молодых бабы и валялись ребятишки. Два молодых мужика стояли около телеги, а старик сидел на земле. Около прыгала на трех ногах пегая лошадь, — сейчас она составляла главное действующее лицо разыгравшейся молчаливой драмы.

— Здравствуй, дедка...

— Ах, барин, здравствуй...

— Лошадь захромала?

Старик только махнул рукой. Горе было слишком велико, чтобы выразить его словом. Сыновья также молчали, подавленные страшным несчастьем. Это было именно страшное несчастье, которое городской человек не сразу и поймет. Я пошел посмотреть расейскую лошадь. Это была даже не лошадь в собственном смысле слова, а просто лошаденка. Лохматая, большеголовая, нескладная, но выносливая как по части работы, так особенно по части питания. Именно к таким лошаденкам я питаю большую слабость, потому что без нее нет и мужика-пахаря. И без пароходов и без железных дорог еще можно обойтись, а вот без такой лошаденки — конец всей русской истории. По неизвестной причине я осмотрел и распухшую у копыта ногу пеганки.

— Цыгана даве приводил я... — объяснил старик. — Взял полтину, дал какого-то снадобья... Говорит: обождите недельку. Легкое место сказать: недельку... Ох, горюшко наше, барин! Вот какое горюшко... А вон и ваш кучер. Коновала ведет.

Егор Иваныч ужасно торопился, так что

скотский фельдшер едва за ним поспевал. Мне очень понравилось это бескорыстное усердие моего кучера. Фельдшер подошел к лошади, осмотрел ногу, пощупал опухоль, потом осмотрел зубы и рот и решительно заявил:

— Никакого толку не будет... Недели три надо дать отдохнуть, а потом само пройдет... Это в ней сока ходят, потому как она накинута на сырую степную траву, а это с непривычки сок из нее и погнало.

Объяснение болезни было довольно фантастическое, но старик переселенец окончательно упал духом. Давеча было две недели, когда цыган смотрел, а теперь уже целых три...

— Барин, явите божецкую милость, — умолял он упавшим голосом фельдшера. — Ведь зарез это нам... Хоть сейчас ложись и помирай.

Фельдшер посмотрел на него, подумал и решительно заявил:

— Нет, ничего не будет... Лучше и не прося. Надо другую покупать.

— Да ведь ничего у нас нет, барин! Как

есть ничего. Что вот только на себе. Где же другую куплять...

Мы пошли к телеге. Фельдшер присел на колесо, закурил папиросу и безучастно смотрел на стоявшего перед ним старика. Егор Иваныч тоже снял свою шапку и чесал в затылке.

— Егор Иваныч, а сколько ты возьмешь придачи на пристяжку? — неожиданно проговорил фельдшер. На кумыс я приехал на долгих, и лошади принадлежали Егору Иванычу. Неожиданный вопрос фельдшера его совершенно озадачил.

— Ведь три недели вы проживете на кумысе, а через три недели лошадь выправится. Доброе дело сделаешь...

— А ежели не выправится?

— Я тебе говорю; выправится.

В самый решительный момент фельдшер достал бумажник, отсчитал двадцать пять рублей и подал их колебавшемуся Егору Иванычу.

— На, получай...

Это великодушие тронуло Егора Иваныча, и он ударил по рукам. Все произошло так

быстро, что вся семья не успела опомниться. Старик хотел поклониться фельдшеру в ноги, но тот отвел его в сторону и долго что-то шептал. В такт этого шепота старик только кивал головой.

— Ну, а теперь с богом, — решительно заявил фельдшер. — Егор Иваныч, отпрягай гнедого...

— А ты вот что, дедка, — заявлял Егор Иваныч. — Как приедешь на Амур-то, так поставь свечку Егорию... Пять целковых я тебе пожертвовал, как ни считай.

Мы возвращались в свою станицу уже на одной лошади, а за нами тяжело прыгала расейская пеганка. Егор Иваныч оглядывался назад, посвистывал и крутил головой. По всем признакам, он раскаивался в припадке собственного великодушия.

— Да, убил бобра... — ворчал он, почесывая затылок. — А чтоб ему, оборотню, пусто было! Ведь как ловко... а? Точно оглушил...

Сначала Егор Иваныч ругался вообще, а потом примялся ругать скотского фельдшера по преимуществу. Этот взрыв негодования для меня был так же непонятен, как и фельдшерское великодушие. Двадцать пять рублей для человека, который живет «так» или «вообще», деньги очень большие. Я решительно ничего не понимал.

— Нет, он у меня не отвертится! — думал вслух Егор Иваныч, очевидно рассчитывая на реплику с моей стороны. — Что мне жена-то скажет, когда я выворочусь с кумыса домой и приведу такого лохматого черта? В станице засмеют... Да тот же Бельков... тьфу!.. Точно

он мне песку в глаза бросил... Нет, брат, ты погоди!..

— За что, Егор Иваныч, вы ругаете фельдшера? Он сделал доброе дело...

Егор Иваныч оглянулся на меня и захохотал.

— Доброе? — переспросил он. — Это, вы думаете, он для расейского старичка пожертвовал четвертной билет? Пожалел? Как бы не так... Не таковский он человек, вот что. Первое дело, и деньги у него не свои, а второе — о себе он хлопочет, да и меня по пути, дурака, втравил. Видели, как он нашептывал старичку-то? Вот это самое... А деньги ему наплевать: как пришли, так и уйдут. Небось и сам знает, что не удержать их, деньги-то, вот он и плутует: дай, мол, всучу поселенцу... Ах, прокурат!..

Дальше Егор Иваныч заговорил уже совсем что-то несуразное: о каком-то акцизном генерале, которого фельдшер обобрал, потом о каком-то кладе, к которому хитрый фельдшер подбирается самым ехидным образом, наконец, о фельдшеровой жене, которая выгнала мужа на все четыре стороны.

— И правильно сделала, значит, эта самая жена. Этакого человека надо как огня бояться... Да он такое устроит... Я так думаю, что непременно он такое слово знает — как сказал, так другой человек и помутится умом. Да вот давеча хоть со мной... тьфу! А родную жену слово-то и не берет... ха-ха... Она его и словом в шею. На, носи — не потеряй... Ах дурак, дурак — это то есть я дурак-то, а не фершал. Вот бить-то — опять не фершала, а все меня же!..

Этот монолог закончился тем, что Егор Иваныч принялся ругать ни в чем не повинную расейскую пеганку, даже погрозил ей кулаком и пообещал продать за три целковых Чибуртаю, который ее съест.

На его счастье, Белькова не было дома, когда мы приехали домой, и Егор Иваныч с такой торопливостью спрятал в конюшню несчастную пеганку, точно украл ее. Остальную часть дня он ходил по двору и ругался, а когда пришел домой Бельков, спрятался сам на сеновале самым постыдным образом. Оказалось, что Бельков уже знал все и некоторое время искал Егора Иваныча.

— Егор Иваныч... а Егор Иваныч! Где ты запропастился? Ну-ка покажи, какого живота выменял?.. Егор Иваныч, разве не знаешь порядку: надо вспрыски сделать. До узды домнялся...

Бельков удушливо хохотал и хлопал себя по ляжкам.

Вымененная лошадь явилась для Егора Иваныча истинным наказанием, так что мне сделалось даже его жаль. Казаки просто не давали ему прохода и травили его при каждом удобном случае, так что ему приходилось скрываться. Дело доходило чуть не до драки.

— Ах, Егор Иваныч, Егор Иваныч... хо-хо-хо! — заливался Бельков. — Ты ей, пеганке-то, резиновые калоши купи да шарф гарусный... Мне больно масть глянется. Пьяный черт ночью ее помелом рисовал...

Егор Иваныч даже похудел от огорченья. Но развеселившиеся казаки этим не ограничились и подослали Чибуртая покупать хромую лошадь. Это уже окончательно взбесило Егора Иваныча, и он бросился на Белькова с кулаками. Я едва его удержал.

Так прошел конец июня. Таинственный

фельдшер точно сквозь землю провалился. Мы уходили с Егором Иванычем, захватив с собой турсук (кожаный мешок) с кумысом, на целый день в степь, главным образом к тем степным озеринкам, которые начинались сейчас от стойбища Чибуртая. Главной приманкой служили дикие гуси, которые выплывали погулять на чистые места только по зорям. Охота была самая неудачная. Гуси сильно сторожились и не желали подпускать на выстрел. Раз мы скрадывали их целый час, вымокли в болоте, и все кончилось тем, что я все-таки «промазал» самым бессовестным образом. Дробь нулевого номера брызнула веером, дальше гусей. Я забыл мудрое правило стрелять на воде, выцеливая под птицу. Домой идти мокрыми было неудобно, и мы завернули к Чибуртаю обсушиться. Степенный киргиз не вышучивал Егора Иваныча, что последний особенно ценил. Ночью у кошей всегда было хорошо. Горит огонек, дым стелется по траве, из степи наносит каким-то горьковатым ароматом, хочется без конца сидеть у огонька, ничего не делать, ничего не думать, а только слушать и смотреть. Над головой та-

кое глубокое синее небо, точно оно выложено дорогим синим бархатом и расшито золотом. Слышно, как в станице сонно брежают собаки, где-то испуганно свистнул куличок, ночная птица козырнула молнией над самым огнем, где-то немолчно трещит кузнечик и надоедливо скрипит неугомонный коростель. Ей-богу, хорошо...

Чибуртай, как вежливый степной джентльмен, уступил мне отрубок дерева, заменявший стул, а сам присел к огню по-степному, на корточках. Егор Иваныч лежал прямо на животе и время от времени отплевывался. Из коша доносилось заунывное пение второй жены Чибуртая, которая только что подоила кобылиц и мешала свежее молоко со старым кумысом. Она пела бесконечные киргизские былины о старых богатырях, любимейшим из которых был последний сибирский хан Кучум. Это было даже не пение в собственном смысле, а какой-то плачущий речитатив с повышениями и понижениями, напоминавшими мерный прибой морской волны. Сколько самой удручающей поэзии в одном таком мотиве... Это была живая исто-

рия неисчислимы́х бед, разливавшихся по степи пожаром. Сколько миллионов погибло, а осталась живой одна былина, которая вспоминала былое теплым словом. Чего-чего не видела вот эта степь, среди которой курился наш огонек, и как к ее простору шла эта песня, напоминавшая наши русские бабьи причитанья по покойнике. А скоро уже с победным гулом пронесется первый поезд Сибирской железной дороги, и народная песня, полная святой скорби, замрет навсегда или, в лучшем случае, сделается достоянием какого-нибудь собирателя-этнографа. К чему и зачем эта история крови, слез и страданий? Неужели она таится в каждом из нас, и только обстоятельства мешают ее реализовать?

— Эх, лошадь-то какая была!.. — вслух думал Егор Иваныч, начинавший в последнее время наяву грезить своим променным гнедком.

— Твой лошадь дрянь, — спокойно ответил Чибуртай. — Такой лошадь волку давал, и тот назад тащил...

— Такой другой лошади и не сыскать...

— Хуже не найдешь... Я его и есть бы не

стал.

У Егора Иваныча проявлялись болезненные преувеличения достоинств гнедка, и он любил возвращаться к этой теме, особенно когда мы бывали у Чибуртая. Киргиз спорил для препровождения времени.

Этот обычный спор был прерван сдержанным ворчанием желтого волкодава, лежавшего у входа в кош. На него откликнулись моментально другие собаки. Стабуненные в одну изгородь кобылицы предупредительно затопали ногами.

— Кто-то идет... — заметил Егор Иваныч.

Чибуртай не шевельнулся, продолжая сидеть на корточках, как истукан. Он не изменил себе, когда собаки одной стаей ринулись в темноту.

— Свой... — решил Егор Иваныч, прислушиваясь, как глухое собачье ворчанье перешло в ласковый визг.

Из темноты показалась высокая фигура. Это был фельдшер Куклин. Его неожиданное появление произвело впечатление, так что даже Чибуртай заворчал:

— У, шайтан... Зачем ночам шатал, добрые

люди пугал?

— Мир на стану, — спокойно проговорил Куклин, подсаживаясь к нашему огоньку. — Этакая ночь-то стоит... Слышно, как трава растет.

Он раскурил папиросу и сосредоточенно принялся смотреть на огонь. Мне показалось, что он сильно изменился и похудел.

Егор Иваныч продолжал лежать ничком точно раздавленный. Я понимал, как у него горело сердце на скотского фельдшера, и ждал крупного разговора.

— Где шатал? — спрашивал гостя Чибуртай. — Нашел клад?

Этот невинный вопрос заставил Егора Иваныча расхохотаться. Он закрыл даже лицо руками и только повторял:

— Ох, прокураты, чтобы вам пусто было!.. Клад... ха-ха! Не положил — не ищи. Вот тебе и клад.

— А ты чему обрадовался? — озлился Куклин. — Глупый человек, и больше ничего. Надо понимать.

Эта реплика заставила Егора Иваныча сесть. Он посмотрел на ненавистного фельд-

шера злыми глазами, как, вероятно, смотрит гремучая змея на несчастного зайца, которого готовится проглотить, и заговорил без всяких вступлений:

— Я-то, дурак, и даже весьма... Ловко ты меня тогда подковал лошадью. Да... Ну и ты тоже около того...

— Около чего?

— Дурак не дурак, а сроду так... Зайцы у тебя в башке в чехарду играют. Верно говорю... Клад! Ах, ты...

Дальше началась ругань, причем на сцену явилась и жена фельдшера, и обманутый им генерал, и какие-то темные художества по службе, за каковые фельдшера гнали с мест, и т. д., и т. д. Одним словом, Егор Иваныч сорвал сердце в полную меру. Чибуртай продолжал сидеть неподвижно по-прежнему и сосредоточенно глядел в огонь. Я чувствовал себя очень неловко, но не вступался в чужое дело. Фельдшер сидел и смотрел на Егора Иваныча улыбающимися глазами.

IV

— Ну, каков ты есть человек?! — выкрикивал Егор Иванович каким-то «истошным» бабьим голосом. — Сколько обманешь, столько и проживешь... А только не на того напал. Мне, брат, мое отдай!.. Не согласен, и кончено. Только найдешь клад — я из тебя живым мясом выхвачу... Нет, брат, шалишь!

Получилось маленькое противоречие: сначала Егор Иванович хохотал над кладом, а теперь требовал своей части, когда этот клад будет найден. Как я заметил раньше, Егор Иванович хотя и ругал фельдшера, но его таинственная деятельность была неотразимо-привлекательна для моего верного слуги. А вдруг отыщется этот самый клад? И помирать не надо.

— В самом деле, какой вы клад ищете? — обратился я к фельдшеру, чтобы прекратить ругань Егора Ивановича.

— Ну-ка, говори?!.- вцепился Егор Иванович. — Все говори...

— И скажу, — спокойно ответил фельдшер, раскуривая новую папиросу. — Что же мне

скрывать? Все скажу... Видите ли, милостивый государь, я, можно сказать, сделался несчастным человеком через собственную супругу. Да-с... О других жизненных неприятностях я уже не говорю. Враги меня преследовали, можно сказать, от самого первого дня моего рождения... А жена уж все и докончила. Видите ли, когда я напал на мысль о кладе, то предложил ей, конечно, продать дом, — дом-то ее, — ну, она, конечно, по своему женскому малодушию уперлась. Не понимает, что от счастья отказывается. Дело самое верное... А чем же я виноват, например, ежели у жены душа короткая? Не вышла в настоящую меру — и конец. Конечно, я с своей стороны делал ей некоторые внушения и держал себя вполне сосредоточенно. А она, например, к прокурору, к жандармскому полковнику, и сейчас, например, отдельный вид на жительство, и сейчас, например, меня в шею. Хорошо-с... Рассудите сами: жена моя, у жены дом, — значит, и дом тоже мой. С ее стороны было только одно упрямство.

— Каким образом вам пришла в голову эта мысль о кладе? — перебил я.

— Как — каким? Кто же этого не знает, милостивый государь? И даже весьма просто. Сколько угодно этих самых кладов я знаю по разным местам, но только те так, не стоят хлопот. А тут вышло дело настоящее... Когда Ермак завоевывал Сибирь, то сибирский хан Кучум убежал в степь и унес с собой все сокровища. Ермак-то и давай гонять его по степи, как зайца, ну, Кучуму и стало невмоготу. Да и ослеп он к тому же. Вот он, то есть Кучум, и закопал свои сокровища в некотором месте, только бы не достались они Ермаку. И, конечно, при этом сделал зарок-с... Извините, а только я этого не могу вам открыть, то есть какой зарок.

— Нет, ты говори все! — вступился Егор Иваныч. — Ты не скрывай...

— Да ведь ты все равно ничего не поймешь, потому как есть человек необразованный. А вот я им по порядку буду говорить... Да-с. Степняки, милостивый государь, конечно, все знают о кладе Кучума, но боятся его взять. Опять все дело в зароке... Хорошо-с. Теперь войдите в мое положение: дело у меня верное, только недостает денег. А тут жена

выгнала на улицу, собственная жена. Значит, что остается делать? Добыть денег. Но где же нынче добудешь денег даже на самое верное дело? Кстати, в это же время меня и со службы прогнали, опять по жалобе на меня жены, и даже хотели отдать под суд. Крутом враги... А я про себя понимаю, что это есть самая хорошая примета, потому что никакой клад не дается без препятствий и неприятностей. Было даже два покушения на самую жизнь: раз чуть не убил меня брат моей жены в остервенении своей злобы, а в другой раз на охоте-с...

— Ну, сейчас генерала подковывать? — хихикнул Егор Иваныч.

— Вы слышали, что он сказал? — обратился фельдшер ко мне, как к третейскому судье. — Вот такое понятие у них у всех... А нука, попробуй сам подковать генерала?.. Понятия не хватит. Пустые слова только умеете говорить и больше ничего. Да-с... На чем я остановился? Да, как жена меня хотела под суд отдать. Хорошо-с. Очутился я, одним словом, на полной свободе. А у самого этот самый клад гвоздем засел в башке... Обидно, конечно, что живем в одном городе, жена в своем доме, а я

определился на квартиру к знакомому попу. Может, слышали: отец Антоний? Очень умный человек, но скуп до зверства. О деньгах и не заикайся... Конечно, он жил вдовцом и дома даже не обедал, а больше по купцам. Очень его уважали купцы, потому как умный человек. Говорю это к тому, что через этого самого отца Антония я свет увидел. Обращался я к некоторым богатым людям за помощью на предмет клада, но везде получал отказ и обидные грубости. Даже нажил врагов, которые хотели определить меня в сумасшедшую больницу. Так-с... И вот, например, сижу я в поповском доме по целым дням и действительно начинаю чувствовать, что я в том роде, как сумасшедший... Конечно, от бедности это... Сижу и ропщу, ропщу и завидую. Ведь вот другие живут-с и радуются, а я должен жить и горевать. Почему? как? Почему отца Антония купцы наперехват приглашают в гости, кормят на убой, а я, например, голодаю? Или: напротив поповского дома живет акцизный генерал, то есть он штатский генерал. Ну, живет вполне: два лакея, коляска, квартира в двенадцать комнат и прочее. И

почему-то меня стала разбирать злость вот именно на этого самого генерала. Конечно, опять от бедности. Раньше-то завидовал, а теперь сижу и злюсь. А тут еще отец Антоний с квартиры гонит и не велит мою комнату отапливать... И дошел я, можно сказать, до окончательного ничтожества, — продолжал фельдшер, делая отчаянную затяжку. — И все у меня генерал из головы не выходит... Ведь денег у него куры не клюют, а ведь не даст ни гроша, ежели пойти и объявиться напрямик. Так и так, дело верное... В шею прогонит. Хорошо. Видите ли, когда бедный человек думает, у него особенные мысли бывают. Целые дни, бывало, сижу у окна и думаю, что теперь делает генерал и какие, например, у него мысли. Конечно, богатый человек, сосредоточенный вполне — у него свои и мысли. С полгода я этак раздумывал о генерале, а тут меня и осенило... Сразу искра блеснула. И как все это весьма даже просто. А навел меня не кто другой, как отец Антоний. Видите ли, какое дело вышло. Сидим это мы как-то вместе утром, пьем чай, а отец Антоний все пожиже да пожиже мне наливает. Выходит как будто

это невзначай... И насчет сахара тоже утешение: «пей, грит, с сахарным песком». Сам-то рафинад кушает, а мне песочку, от которого так мочалом и нашибает. Хорошо. Сидим. Вдруг это к поповскому дому два воза сена подъезжают... Ах, боже мой, как это все просто на свете делается! Ну что такое, скажите, пожалуйста, два воза сена: пустяки и даже глупость, потому что красная им цена пять рублей.

Фельдшер махнул рукой и засмеялся. Я только тут обратил внимание на его особенность: он никогда не улыбался, и смех выходил какой-то деревянный. Егор Иваныч следил за ним недоверчивым взглядом.

— Может, к генералу сено-то подвезли? — спросил он.

— Да нет же, к попу. Да... Вот сейчас заходит это мужик и спрашивает отца Антония. «Так и так, два воза сена вам прислал господин Горшенин». — «Как так? почему?» Подивился-подивился отец Антоний, а потом взлел сметать сено в сарай. Поехал к Горшенину отец Антоний, а тот ему: «Закупился, грит, с сеном, два воза оказалось лишних —

вот я вам и послал, батюшка». Понимаете, куда дело пошло? Ох и умница этот Горшенин. Прямо в самую точку попал... Отец Антоний, конечно, рад и Горшенина похваливает, а того не замечает, что у самого в башке эти два воза сена засели. Через некоторое время приезжает этот Горшенин уж к отцу Антонию и прямо: нужно пять тысяч на полтора часа. Дивиденту обещает целых триста рублей. Это за полтора-то часа. И что же вы думали: расступился отец Антоний и дал. А Горшенин, конечно, был таков с деньгами. Ищи в поле ветра... И вышло, что отец Антоний за два воза сена пять тысяч заплатил, и весьма просто. Купцы ему и сейчас проходу не дают и все сено это поминают. От злости он меня сейчас же и сахарного песку лишил. Ну хорошо, думаю, наверстывай теперь... И что удивительно, подари Горшенин отцу Антонию что угодно за ту же цену — ничего бы из этого не вышло, а против сена не мог человек устоять. Предмет огромный, хозяйственный... Да-с, так я тогда и просветлел.

— Сейчас генерал начнется? — спрашивал нетерпеливо Егор Иваныч.

— Да, генерал. Видишь ли, в младости я весьма был подвержен к рыбной ловле и тогда еще удивлялся, как это даже самая большая рыба попадает на крючок из-за самого пустого предмета вроде червяка, мушки и тому подобное. И чем больше рыба, тем легче ее обмануть, потому что жадности в ней больше и надеется на свою силу. А ведь она живет, значит, имеет свой рыбий смысл, и вдруг: трах!.. То же и с птицей... Чучелу ей покажешь — она и летит, милая. А что такое чучело: пустяки и даже совсем глупость. Или тоже рябчик по осени: пикнешь ему в пищик, а он так прямо на тебя и летит гоголем. Вся суть именно в пустяках... Набросься с дрекольем — и ничего не поймаешь, а только напугаешь всех. Вот это самое я и сообразил, когда пошел к генералу. Нужно сказать, что у меня и полная отчаянность в то время была, потому как без денег его никак невозможно взять. А взять нужно... Моих-то собственных капиталов оставалось всего восемь копеек. Хорошо. Отправился я в гостиный двор, прямо в москательную лавку, купил на пяточок краски умбрии и с ней прямо к генералу. Даже

сам теперь удивляюсь смелости... Хорошо. Швейцар, натурально, меня в шею. Ну, я хожу по тротуару и жду, когда приедет генерал. Едет... коляска, пара вороных, кучер, как хороший деревянный идол... Я тут и вцепился в генерала. Старик был строгий, все его боялись, а тут сам испугался, когда я на него наступил. Прямо лезет человек в отсутствии ума. Швейцар это меня хочет опять вытолкать, а я генералу прямо в нос свою краску сую и притом повторяю самый вздор: «Бедный человек, ваше превосходительство... пострадал от собственной жены... промежду прочим, родной зять покушался даже на жизнь... Осчастливьте слово выслушать». Генерал смотрит на меня, нахмурился. «При чем же, грит, эта дурацкая краска?» Я тут же ему в передней все и объяснил: «Краска эта итальянская, ваше превосходительство... Один провоз стоит больше трех рублей с пуда. Спросите хоть сами в гостинном дворе». Тут уж генерал рассердился и даже затопал на меня ногами. «Мне-то какое дело, грит, до твоей дурацкой краски? Убирайся вон, дурак...» Я сейчас на колени. «Ваше превосходительство, со-

всем даже она не дурацкая, потому как я ее вам могу доставить по гривне за пуд сколько угодно. Открыл месторождение, а человек бедный... Купцы не поверят бедному человеку. А ведь это какое дело: умбрии идут тысячи пудов, и ежели с каждого пуда нажать один рубль — и то богатство. Припадаю к стопам вашего высокопревосходительства...» Пожал генерал плечами, а краску все-таки взял.

— Значит, затравка вполне? — хихикнул Егор Иванович. — Ну и дошлый человек уродится в другой раз...

— Что же дальше — дальше уж все как пописаному. Как насыпал я этой умбрии генералу в башку, ну он и вцепился. Через три дня сам за мной присылал... Тоже любопытно на гривенник рубль получить. Выдал даже мне задатку десять рублей. А я на эти деньги купил два пуда этой самой краски, поехал в лес верст за двадцать, выкопал собственноручно яму аршина на три глубины, а потом приделал боковушку да туда свою умбрию и забутил. Ну, привез генерала. «Пожалуйста, ваше высокопревосходительство, в яму...» В яму не согласился залезать, а я ему и давай из ямы

лопатой выкидывать краску. Целый пуд накидал... Только и всего. Ну а потом уж на полном доверии сделался. Начал разведки делать, паровую машину поставил, казарму для рабочих — все как следует. Генерал дает деньги, а я руководствую. Когда он заскучает — я сейчас ему целый воз краски привезу. Нарочно брал из разных магазинов и с песком мешал. Ну, в полтора года таким манером тысяч пятнадцать из него вынул.

Наступила пауза. Егор Иваныч широко вздохнул и проговорил с завистью:

— Любую половику к себе в карман положил?

— Ну это уж мое дело...

— А молодчина! — неожиданно проговорил Егор Иваныч. — Ей-богу, молодчина... Ведь надо же было придумать!.. Ловко...

— И ничего ловкого, — сказал фельдшер. — Разве я для себя хлопотал? Для себя-то ввек не придумаешь... И потом, я эти деньги потом отдам генералу, и даже с процентами, только обещу клад. Все равно, как в банке, у меня его деньги лежат. Опять ты ничего не понимаешь, Егор Иваныч. Ну на что мне генераль-

ские деньги, когда и своих будет достаточно? Плевать мне на них...

— Дурак будешь, — спокойно заметил Чнбуртай. — Большой дурак... Тебе счастье бог давал, а ты дурак будешь.

Мы прожили на кумысе до ильина дня. Началась уже казачья страда. Степная трава начала сохнуть, и было пора ехать домой. Мы выехали из станицы ранним утром, чтобы никто не видел вымененную пеганку. Егор Иваныч все-таки волновался. Он успокоился только тогда, когда станица осталась далеко, а наш дорожный коробок катился по мягкому черноземному проселку между двумя живыми стенами вызревавшей пшеницы.

— А ведь мозговитый мужичонка этот самый скотский фельдшер, — заговорил Егор Иваныч, потрянув головой. — И клад беспрерменно обещет... Вот только выправить ему Кучумов зарок. Да... Помните, как он четвертой билет тогда отвалил за лошадь поселенцу? И хитер, пес... Сам признался потом. Помните, как он нашептывал? Вот это самое... Дал он старику серебряный рупь-крестовик и

наказал, когда подъедут они к Иртышу, бросить его в реку и сказать всего два слова: «Знаю зарок!» Клад-то сам и выйдет, потому как силой тут ничего не возьмешь.

— Старик бросил бы рубль и так...

— А вот и нет. Цыганка прямо ему сказала, то есть фельдшеру: «на пегашке поедешь — не доедешь, а поезжай на гнедой». В самую точку так и сказала. А фельдшеру время дорого, ежели самому на Иртыш ехать, и при этом бабы за него будут молиться. Тоже наказывал...

Егор Иваныч уже не сердился больше на фельдшера, потому что имел в виду променять пеганку «в казаках» на хорошую лошадь, причем, по его расчетам, от полученной им придачи должно было остаться почему-то ровно семь рублей.

Вызревшая степь имела какой-то усталый вид. Преобладали желтые, золотистые тона, точно этот аршинный степной чернозем был вызолочен живым золотом. Коробок покачивался, колокольчики весело поговаривали под дугой, захватывала чисто дорожная драма, когда начинаешь видеть собственные

мысли. Дорогой часто случается, что привяжется какая-нибудь одна фраза или мотив и ни за что не выходит из головы. Такой фразой для меня была: «Клад Кучума». Я никак не мог от нее отвязаться и, по ассоциации идей, думал о сумасшедшем фельдшере. Мне казалось, что и колокольчики наговаривают то же самое: «Клад Кучума! Клад Кучума!.. клад, клад, клад!..» Да ведь вся Сибирь — один сплошной клад, только стоит снять с нее роковой зарок...

1897

Примечания

безделъе (итал.).

[^^^]